

ИНТЕРВЬЮ С ЛОРДОМ БЕРТРАНОМ РАССЕЛОМ. ИЛЛЮЗОРНА ЛИ ВЕРА В ПРОГРЕСС?¹

МЭГГЕРИДЖ: Моя позиция такова: я считаю, что одним из главных факторов, приведших мир в его нынешнее, довольно плачевное состояние, было то, что в силу целого ряда причин люди оказались во власти предрассудка, что человеческая жизнь каким-то сверхъестественным образом должна или способна становиться все лучше и лучше. Я воспринимаю это как полнейшее заблуждение. Я не думаю, что она становится лучше, как, впрочем, не думаю, что она становится хуже. И считаю, что люди смогут вести разумную жизнь в этом мире только тогда, когда поймут это; таким образом, я утверждаю, что идея прогресса оказалась идеей разрушительной, фундаментально ошибочной, и что у нас остается очень мало на что надеяться, пока она не будет полностью развенчана.

РАССЕЛ: Ну, если согласиться с тем, что никакие действия человека не способны сделать мир лучше или хуже, можно с тем же успехом предаться пьянству и окончить жизнь в сточной канаве. Мне кажется, что в действительности вы не придерживаетесь такого взгляда, вы сами в это не верите.

М.: Должен с вами категорически не согласиться, потому что неверие в прогресс — каковое питают, к примеру, христиане, считающие, что человеческая природа изначально ущербна и что она не может быть иной, потому что несовершенны они сами — не порождает обязательно некую безнадежность. Нет абсолютно никаких причин, по которым люди не должны жить более комфортно-

¹ Стенограмма беседы с Берtrandом Расселом 3 февраля 1957 г., радио Би-би-си.

бельно. Однако все это никак не влияет на обсуждаемый нами вопрос. Речь идет о том, улучшается ли человеческая жизнь по своей сути, становится ли возвышеннее, духовно богаче, счастливее. В моем понимании — нет.

Р.: Вы же сами признались, что условия нашей жизни меняются. Но вы не хотите признать, что одни из этих перемен — к лучшему, другие — к худшему. Вы утверждаете, что они этически нейтральны, и если вы действительно, со всей искренностью и прямоотой так считаете, отсюда неминуемо следует, что никакие ваши действия не имеют никакого значения, и что все этические стандарты, — все этические и моральные стандарты — исчерпаны.

М.: Ничуть. Я совсем не утверждаю, что перемены в человеческом существовании не имеют никакого значения. Я говорю, что они не меняют сущностного характера жизни, и что если люди склонны приписывать им качества, которых на самом деле эти перемены с собой не несут, люди пребывают в заблуждении и в конечном итоге губят себя. Другими словами, может быть желательно или нежелательно иметь такую вещь, как радио, это странное изобретение, позволяющее другим людям слышать нас сегодня вечером. Служит ли факт его существования преимуществом или нет, не имеет никакого отношения к идее прогресса, т.е. к тому, насколько мы с вами становимся лучше, насколько лучше мы понимаем сущность нашего бытия.

Р.: Не думаю, что мы должны ограничиваться только научными открытиями. Допустим, существовали племена дикарей, где престарелых родителей продавали на съедение соседям-каннибалам их же собственные дети, и я думаю, мы оба согласимся, что это была плохая система, и что мы предпочитаем ту систему, где старикам позволяют жить и дальше.

М.: Я забыл сказать, что если бы мы собрали воедино всю чудовищную жестокость нашего времени, индивидуальную или коллективную, то это было бы мировым рекордом, и мне представляется, что существует определенная связь между этим фактом и той поразительной иллюзией, что род человеческий прогрессирует. Думаю, что по-настоящему человеческими и добрыми делает людей смирение, а идея прогресса — идея высокомерная. И в этом, пожалуй, ее главный изъян.

Р.: Думаю, что нам надо кое-что уточнить. Говорим ли мы «лучше» или «хуже» только в моральном смысле, или также в дру-

гих смыслах? Если вы имеете в виду только моральную сторону, то многое подтверждает вашу позицию, но я должен сказать, что общество, где люди физически здоровы, лучше того, где они больны, хотя это не имеет никакого отношения к добродетели.

М.: Тогда нужно было бы искать лучших людей — высшие образцы человечности — в тех обществах, где успешнее всего решена проблема их материального существования; попробуйте, и вы будете глубоко разочарованы. Я думаю, например, о ком-то вроде Ганди, у которого, несмотря на то, что он был во многих отношениях весьма упрямым человеком, была, на мой взгляд, очень глубокая идея. Он считал, например, что надежда на то, что сделав Индию богатой индустриальной страной, мы улучшим там условия жизни, — эта надежда ложна. Можно было бы сказать, что всё его движение было ретроградным, но я думаю, что в нем сохранилась великая правда, и это именно то, на чем я пытаюсь заострить внимание.

Р.: Что ж, мне кажется, что это предполагает необычайно узкое понимание сострадания. Нищета в Индии была настолько ужасающей, что большинство детей умирало в младенчестве, а если они выживали, то жили в невероятно трудных условиях. Если в вас была человечность, если в вашем сердце была любовь, если вам было безразлично, страдают люди или нет, вам бы это не понравилось; это было бы вам по душе только в том случае, если бы вы ставили духовные ценности, близкие вам, но чуждые другим, — выше материального благополучия, которое становится очень важным, когда мы опускаемся ниже определенного уровня.

М.: Думаю, что все самое великое в истории человечества идет от поисков духовных ценностей — пусть даже неразумных и примитивных, — а все, что низменно, ordinarily и дешево, пришло от погони за материальным достатком. Вот представьте себе, лорд Рассел, двух людей, две крайности. Возьмем такого человека, как св. Франциск Ассизский, и возьмем, например, Генри Форда. Ведь оба они совершенно искренне верили, что служат людям, своим собратьям, но я считаю вклад святого Франциска Ассизского в жизнь людей бесконечно выше вклада Генри Форда.

Р.: Я вынужден категорически не согласиться, и мне кажется, вы забыли, что случилось с францисканским движением, как только Франциск умер. Сразу после его смерти францисканцы превратились в сержантов по рекрутскому набору для одной из

самых кровавых войн в истории. Вот каков был долгосрочный итог его усилий. Форд ничего такого не совершил. Форд был гораздо духовнее св. Франциска Ассизского.

М.: Хочу сказать, что подлинный смысл прогресса, как я его понимаю, — это создание Царства Небесного на земле, и я убежден, что это совершенная небылица, полнейшее заблуждение. А другая идея, идея, принадлежащая людям, способным помышлять о Царстве Небесном на небесах, — это более возвышенная, прекрасная, более продуктивная идея, чем та идея Царства Небесного на земле, что была у Форда.

Р.: Наше с вами фундаментальное расхождение состоит в том, что, по-моему, самое главное — чтобы люди были способны на сочувствие и сострадание; их должно беспокоить, когда другие люди страдают. Невозможно удовлетвориться духовными ценностями, суть которых состоит в игнорировании всего остального мира.

М.: Да, но эти самые духовные ценности — единственные, заставлявшие людей во все времена сострадать другим.

Р.: Я отвергаю это; должен сказать, что на протяжении всей истории те, кто был сосредоточен на духовных ценностях, творили ад. Думаю, и нацисты были сосредоточены на духовных ценностях.

М.: Дорогой лорд Рассел! Уж если кто верил в материальные ценности, так это они — они больше всех верили в прогресс и, Боже мой, что они сотворили! Они совершенно верили в это, они были невероятно прогрессивны.

Р.: Когда вы видите, как огромные массы людей глубоко страдают, надо же искать пути уменьшения их страданий.

М.: Следует ли из этого, что вы не верите в прогресс?

Р.: Не надо думать, что я предсказываю неизбежность прогресса. Я не знаю, будет он или нет. Надеюсь, что будет.

М.: А что бы вы сочли прогрессом?

Р.: По-моему, прогресс — это когда среднему человеку живется счастливее, чем раньше.

М.: Согласен.

Р.: Послушайте, это все прекрасно, эти разговоры; но большая часть человечества в настоящее время страдает от недоедания. Достаточность питания — это касается материального, и если вам недостает питания, вы страдаете, и я не могу сказать, что ме-

ня устраивают духовные ценности, когда большинство человечества голодает.

М.: Не могу сказать этого и я. Для меня нестерпима мысль о том, что голодает хотя бы один человек, но в данном случае меня интересует то, как можно привить людям желание накормить тех, кто голоден, как внушить им, что нельзя быть жестокими по отношению друг к другу. И я убежден, что если это и делалось раньше, то делалось не исходя из того, что человек способен жить хлебом единым, а с верой, что он не может так жить; и когда мы абсолютно убеждены, что он не может жить только хлебом, вероятность, что мы накормим его, гораздо больше, чем если мы утверждаем обратное. Видите ли, будь всё по-вашему, то страны, достигшие сейчас необычайного материального богатства, были бы местами любви и счастья, а это на самом деле далеко не так.

Р.: Я не сказал, что это места любви, но я уверен, что, без сомнения, средний житель Соединенных Штатов в настоящее время счастливее среднего обитателя Индии.

М.: И лучше?

Р.: Ну вот видите, вы опять вернулись к морали. Я не хочу вникать в вопросы морали, потому что думаю, что эти вопросы неоднозначны, противоречивы.

М.: Без противоречий нам не обойтись; их нельзя отделить от морали. Это невозможно. Если хотите знать, я твердо верю, что в принципе существует только одна вещь, заставляющая людей делать друг другу добро, и что она выражена в религиозном понимании любви, и что только это смягчает все ужасы враждующего и ненавидящего человечества.

Р.: Ну, на это позвольте мне возразить. Если вы обратитесь к истории религий, вы увидите, что она была полна ненависти, гонений, нетерпимости, и религии оказались в числе главных причин, почему люди причиняли друг другу столько страданий. И по мере того, как угасала религиозная вера, люди становились гуманнее.

М.: Я жил в двух странах, где религия была систематически уничтожаема. Одной страной был Третий рейх, гитлеровская Германия, другой — СССР, Россия, и в этих двух странах я видел больше жестокости, больше бессердечия, чем где-либо еще, где мне довелось быть.

Р.: Это потому, что в обеих странах пытались привить людям новую религию. В обеих была религия, причем новая, а новые ре-

лигии куда более нетерпимы, чем старые, и как раз религиозная нетерпимость делала их такими жестокими и порочными.

М.: Я думаю, что единственное, к чему любой человек мог бы стремиться в жизни, — это быть добрым.

Р.: О, Боже мой! Я бы перерезал себе горло, если бы моей целью в жизни было быть добрым. Мне это кажется безумно самодовольным, просто ужасным в качестве цели жизни.

М.: Думаю, что ничего другого не может быть.

Р.: И при этом, желая быть добрым, вы и о своем «я» не забываете.

М.: Конечно, забываете.

Р.: Для меня просто нет ужаснее тех, кто хочет быть добрыми; они сами делают это недостижимым, им никогда не стать благи́ми, никогда, никогда...

М.: В конце концов, все сводится к тому, как мы понимаем «быть добрыми». Вот вы утверждаете, что сама эта мысль вас отталкивает.

Р.: Я сказал, что иметь мотивом всей жизни желание сделаться добрым — отталкивающе. А это совсем другое дело.

М.: Но это и есть самая суть христианства.

Р.: И одно из моих возражений христианству.

М.: Вы считаете, что это ужасная религия. Но все когда-либо существовавшие религии этим отличались. Так что они все ужасны.

Р.: Да, все.

М.: Все ужасны.

Р.: Да.

М.: Вы бы, наверное, предпочли, чтобы ни одной из них не было и в помине.

Р.: Предпочел бы. Послушайте, когда вопрос об эвтаназии обсуждался в Палате лордов, был внесен законопроект о легализации эвтаназии, и все благородные лорды — все христиане — вставали и говорили (я несколько перефразирую их выступления), что Бог насылает на людей рак потому, что Ему нравится их мучить, и что мы лишим Его этого удовольствия, если дадим им возможность покончить с собой.

М.: Думаю, что было очень глупо так говорить.

Р.: Они были христиане, и все христиане так говорят.

М.: А я бы голосовал против эвтаназии, потому что свято верю, что жизнь была задумана как благой дар. И поэтому я бы никогда не взял на себя ответственность заявлять, что я, как человек, могу сознательно положить конец жизни другого человеческого существа.

Р.: Но послушайте...

М.: Потому что я... недостаточно самонадеян, чтобы позволить себе сказать это.

Р.: Послушайте, Мэггеридж. Если вы утверждаете, что всемогущий Создатель создал этот мир, руководясь благими побуждениями, то вам придется принять такие невероятные допущения...

М.: Но я не...

Р.: ...что вы не сможете остаться цельным человеком.

М.: Я понимаю, что можно вполне допустить присутствие в нашей жизни вещей отвратительных и ужасных, но эти вещи могут быть поняты в контексте полноты всего опыта бытия, как во времени, так и вне времени.

Р.: Давайте, я предложу вам противоположную гипотезу, которая столь же вероятна. Согласимся, что в этом мире есть и какие-то хорошие вещи. Мир был создан сатаной, который оставил эти хорошие вещи в мире для того, чтобы они оттеняли зло дурных вещей, и это соответствовало бы фактам в той же самой степени.

М.: Но я в это просто не верю.

Р.: Не верите? Потому что вас это не устраивает, создает для вас неудобство. Никаких других соображений, кроме удобства я здесь не вижу.

М.: Ничего подобного; во многих отношениях мне было бы гораздо удобнее держаться совершенно иных взглядов. Но всё, что я видел в жизни и читал о жизни, и всё, чем я восхищаюсь в жизни, приводит к выводу, что жизнь была задумана как благо.

Р.: Понятно. Значит, когда Джордано Бруно был сожжен живо, он был третьесортным, гнусным существом, а люди, которые его сожгли, были великими?

М.: Нет.

Р.: Но ведь это подразумевается тем, что вы сказали.

М.: Ничего подобного. Думаю, сам факт его сожжения из-за вопросов веры полностью подтверждает мою точку зрения. Что он предпочел скорее быть сожженным, чем согласиться с чем-то, ли-

шенным всякого смысла, — будь жизнь столь тривиальна, как это следует из материалистической философии.

Р.: Но почему из материалистической философии должно следовать, что жизнь тривиальна? Это совершенно не следует.

М.: Для меня — следует.

Р.: Это потому, что вы ее не понимаете.

М.: Вполне возможно.

Р.: Простите меня, если я веду себя невежливо...

М.: Да нет, все в порядке.

Р.: Нет, я и вправду веду себя ужасно.

М.: Да нет же, не ужасно.

Р.: Я нетерпим...

М.: Да совсем вы не нетерпимы.